

ных дел и семейных событий Рэнсел серьезное внимание уделяет здесь усилению религиозности Толчёнова в роковые периоды его жизни, показывает, что Иван почти ежедневно подолгу истово молился в разных московских храмах. Этот же сюжет подробно рассмотрен в завершающей главе монографии «Новое равновесие». Несмотря на скромные финансовые обороты, Толчёнов, по мнению исследователя обрел в эти годы душевный покой, благодаря благополучному устройству детей, которым он стремился дать лучшее образование и обучал иностранным языкам: четыре сына имели достойные занятия в бизнесе и в качестве наемных управляющих.

Подводя итог, Рэнсел отмечает, что хотя в течение жизни социальное положение Толчёнова постоянно менялось в зависимости от взлетов и падений, его самоидентификация как богатого и успешного человека, получившего положение в обществе от деда и отца, оставалась, несмотря на обеднение, очень устойчивой (с. 250–251). Исследование биографии получило завершение, когда американский историк после долгих поисков обнаружил в архивных делах по Дмитрову сведения о кончине своего героя в 1825 г.

Книга снабжена пятью географическими картами, иллюстрирующими ареал торговых операций фирмы Толчёновых (от Орла до Петербурга), планы Дмитрова и окрестностей, план Москвы, – с обозначением топонимов, упоминаемых в дневнике, а также генеалогическими схемами и современными фотографиями памятных для автора дневника мест.

Замечательное исследование профессора Рэнсела не только вновь обращает внимание исследователей и любителей истории на сам источник, пока еще незаслуженно мало используемый в преподавании и в научных работах, но и освещает многие малоизвестные стороны жизни русского общества второй половины XVIII – начала XIX в. и показывает многообразие в этот период социальных и культурных связей между людьми в больших и малых городах.

**Г.Н. Ульянова,
доктор исторических наук
(Институт российской истории РАН)**

Примечания

¹ *Ransel D.L. Mothers of Misery: Child Abandonment in Russia. Princeton, 1988; Idem. Village Mothers: Three Generations of Change in Russia and Tataria. Bloomington, 2000.*

² *Imperial Russia. New Histories for the Empire. Bloomington, 1998.*

³ См.: *Ульянова Г.Н.* Рец. на кн.: Купеческие дневники и мемуары конца XVIII – первой половины XIX века. М., 2007 // *Отечественная история.* 2008. № 1. С. 195–197.

⁴ См., например: *Self and Story in Russian History.* Ithaca; L., 2000; *Autobiographical Practices in Russia.* Göttingen, 2004.

⁵ *Ulrich L.T. A Midwife's Tale: The Life of Martha Ballard, Based on her Diary, 1785–1812. N.Y., 1990.*

⁶ Журнал, или Записка жизни и приключений И.А. Толчёнова. М., 1974. С. 318–319.

С.П. Постников, М.А. Фельдман. Социокультурный облик промышленных рабочих России в 1900–1941 гг. М.: РОССПЭН, 2009. 367 с.

«Короткий двадцатый век» или «долгий двенадцатый»? Такая постановка вопроса вполне уместна при изучении российской истории XX в. в контексте теории модернизации, предполагающей между столетиями прежде всего качественные различия. Между тем изучение истории промышленности и рабочего класса, вопреки официальным декларациям с высоких трибун, наглядно убеждает, что качественные, принципиальные изменения в социальной структуре российского общества в течение XX в. не то чтобы вовсе отсутствовали, но были не слишком заметны. Национализация экономики и монополизация промышленности привели к тому, что исчезли экономические основания для различия классов, в том числе и класса, торжественно провозглашенного «ге-

гемоном»; а общество, стратифицированное по этатристическому принципу (в зависимости от отношения человека к государству), гораздо больше напоминает сословное, нежели классовое. Основным критерий такой стратификации – положение во властно-государственной иерархии¹. Каркас стратификационной структуры образует сама государственная власть, распространяющаяся на подавляющую часть материальных, трудовых и информационных ресурсов. В этом, как полагают М.А. Фельдман и С.П. Постников, заключалось принципиальное сходство дореволюционной сословности и послереволюционной иерархии общества. Тем самым они соглашаются с Ш. Фицпатрик: всячески подчеркивая идею классовой структуры общества, советское государство фактически

вернулось к прежней, столь презируемой словной структуре².

Как ни странно, в стране «победившего рабочего класса» не изучался «класс-победитель». Недоступность данных о численности и характеристиках персонала растущего числа оборонных предприятий, закрытость основного массива материалов по истории промышленности привели к тому, что историография рабочего класса СССР, весьма фрагментарная, акцентировала внимание только на позитивных моментах (увеличение количества рабочих, повышение их квалификации и общеобразовательного уровня). Хронологические рамки исследований, как правило, ограничивались барьерами пятилетних планов, подробное изложение которых не сопровождалось детальным анализом их выполнения. Слабая изученность советского рабочего класса привела к тому, что знания о нем подменялись стереотипами. Между тем реальная картина происходившего была гораздо сложнее. Противоречие между официальным статусом рабочего класса в СССР и малым количеством обстоятельных исследований, посвященных рабочим, базирующихся на обширном статистическом материале, может показаться странным только в том случае, если воспринимать всерьез декларируемые приоритеты государственной политики. Но была ли она политикой партии рабочего класса? Был ли этот класс в Советской России правящим? Насколько он был «послушным»? Наконец, авторы задают провокационный вопрос: существовал ли сам этот рабочий класс в «стране победившего социализма»?

Постников и Фельдман написали историю рабочего класса на основе теоретического инструментария «новой социальной истории», сформулированного в 1960-х гг. английским историком Э. Томпсоном³: «Старая» социальная история фокусировалась на изучении классового или имущественного расслоения в обществе, «новая» — акцентирует внимание на выяснении подлинной картины социальных групп, на уточнении конкретных связей между этими группами, определяющими общественное положение, права и обязанности, статус и престиж индивидов и организаций. При этом культура рассматривается в качестве неотъемлемой характеристики человека как социального существа и в неразрывной связи с социальным поведением индивидов, составляющих отдельную общественную группу⁴.

Ключевая характеристика, позволяющая кратко обрисовать «передового класс российского общества» — это его неоднородность. Рабочий класс и в начале, и в середине XX в. представлял собой не столько реальную, сколько статистическую социальную общность, в

которой сочетались грамотные и неграмотные, «коренные» и «пришлые», пожилые и молодые, высококвалифицированные специалисты и неквалифицированные рабочие, потомственные мастеровые и выходцы из деревни. «Истина достаточно далека как от утверждений об отсутствии в России в начале XX века и в СССР к 1941 г. настоящего рабочего класса индустриального общества, так и от заявлений о завершении формирования такого класса», — полагают авторы (с. 5). В центре их внимания находятся именно долговременные масштабные изменения в социальной структуре, квалификационных и общеобразовательных характеристиках, духовном микроклимате рабочих в первые 40 лет XX в. Российский рабочий класс оказывается, как убедительно демонстрируют авторы, чем-то «становящимся», не столько объективной социальной общностью, сколько формирующимся на протяжении довольно длительного времени конгломератом социальных групп и взаимосвязей, возникающим в процессе трансформации доиндустриального общества в индустриальное. В монографии не только освещаются экономические показатели, но в первую очередь выявляется сеть социокультурных и социально-экономических контактов между индивидами и общественными группами, взаимодействие которых и формирует социальный слой рабочего класса. В русле такого методологического подхода хронологические параметры исследования (1900–1941 гг.) выглядят вполне естественно.

Немаловажно, что в рамках рецензируемого труда спокойно перешагивается барьер 1917 г., который долго служил своего рода рубежом в хронологии исследований «до» или «после». Споры нет, революция 1917 г. — важная веха в социальной истории России. С учетом гибели, эмиграции, деклассирования представителей бывших сословий происходит упрощение социальной структуры советского общества, снижение его интеллектуального потенциала. Вместе с тем, как показывают авторы, помимо архаизации, замечается и определенная преемственность. Сохранение хозяйственного быта, повседневных занятий и привычек во многом определило и соблюдение традиционного социокультурного уклада промышленными рабочими. У более чем половины советских граждан, в том числе значительной части рабочих, сохранялись религиозные убеждения. Кадровые работники промышленности сохранили земельные участки. Важная деталь, которую подметили авторы, — отсев «прежних» людей происходил и в рабочей среде. Среди репрессированных была высока доля прежних рабочих казенных предприятий (высококвалифицированных и привилегирован-

ных), лиц старше 40–50 лет, бывших членов социалистических партий. При этом в течение 1920-х гг., вплоть до начала массовых репрессий, бывшие идейные противники времен революции и Гражданской войны мирно трудились плечом к плечу на одних и тех же предприятиях, и столкновений между ними не отмечалось. Так, на Ижевском заводе, по данным на 1928 г., из 19 тыс. рабочих 4 243 (22.3%) воевали на стороне белых, 4 тыс. (21.1%) – на стороне красных (с. 327). Почему администрация и государство до поры до времени закрывали на это глаза, пожалуй, можно догадаться: надо было восстанавливать промышленность, а квалифицированных рабочих рук катастрофически не хватало. Выходит, это понимали не только власти, но и рабочие? Сводка ОГПУ, направленная в обком ВКП(б), сообщала о примечательном случае: на собрании трудящихся Сарапула в январе 1924 г. рабочие выступили против исключения тех, кто служил у белых (с. 326).

Соглашаясь с французским историком А. Безансоном в том, что «идеология разорвала связь между старым и новым режимом», авторы в то же время отмечают: изменения в сфере культурного уровня рабочих оказались не столь глобальными, как это казалось властным структурам. Утверждения политиков и публицистов 1920-х гг. о «культурной революции», «невиданно быстром росте культуры», как показано в монографии, не подтверждаются каким-либо статистическим материалом. Теоретический вывод о том, что социальная катастрофа на самом деле представляет собой сложную комбинацию социокультурных образований, подтвердили результаты Всесоюзной переписи 1926 г.: за короткий срок рабочий класс СССР восстановил ряд количественных и качественных характеристик довоенного времени. Препятствием на пути культурной аннигиляции стала прочность традиций хозяйственного быта, повседневных занятий и привычек, во многом определяющих социокультурный уклад промышленных рабочих, цивилизационная граница между рабочим социумом и городской элитой (с. 241). По результатам исследования середины 1920-х гг., 60% московских рабочих вообще не читали книг, из оставшихся 40% большинство «брали в руки» литературу политического содержания. Несмотря на бесплатность многих культурных развлечений, в 1925 г. на одного малоквалифицированного рабочего столицы приходилось

0.3 посещения театра в год, 0.2 – выставок и музеев, на одного квалифицированного соответственно – 0.7 и 0.2 (с. 242).

В столице Уральской обл. Екатеринбурге, по данным обследования в 1927 г. рабочих мартиновцев Верх-Исетского завода, ведущего предприятия города, только 13% металлургов читали газеты регулярно, 49% – нерегулярно, 38% – вообще не читали. 24% рабочих регулярно посещали клубы, никогда там не были – 52%, а 24% рабочих редко бывали в клубах, 67% рабочих не ходили в кино, а 81% – в театры. Свободное время, остававшееся в распоряжении мартиновцев, преимущественно расходовалось на выполнение различных работ в личном хозяйстве (с. 243). Оставалось ли при таком режиме время для повышения собственной грамотности, профессиональной квалификации или общественной активности?

Насколько социокультурный уровень рабочих соответствовал потребностям модернизации страны и декларированному курсу на построение социалистического общества? Сформировался ли рабочий класс к началу Великой Отечественной войны – или так и оставался «двуликим Янусом» российской модернизации, сочетавшим черты «доиндустриальной, индустриальной и даже местами позднеиндустриальной эпохи» (с. 366)? Ответить на эти вопросы оказывается, пожалуй, даже труднее, чем до прочтения книги. Четких и понятных стереотипов больше нет, вместо них – широкое поле для изучения проблемы.

А.И. Богомолов,
кандидат исторических наук
(Санкт-Петербургский институт
истории РАН)

Примечания

¹ Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1995. С. 198.

² Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е гг.: город. М., 2001. С. 20.

³ Thompson E.P. The Making of the English Working Class. N.Y., 1963. Слово «Making» здесь уместно перевести как «становление» или «формирование».

⁴ См.: Соколов А.К. Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения // Социальная история. Ежегодник. 1998/99. М., 1999. С. 39–76.